

ИЗ ФРОНТОВОЙ ЖИЗНИ

ЕЛЕНА КОНОНЕНКО

Твоя карточка



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1942



ТВОЯ КАРТОЧКА

(Лирическая быль)

Эх, девушки, девушки, вы даже не знаете, как читаются ваши письма на фронте! Тут пьют каждую букву, а не то что слово, пьют, как человек, которого измучила жажда, и он припал ртом к источнику. И как это хорошо бывает, если источник свеж и чист! С каждой каплей вливаются могучие силы жизни. Когда отогревается сердце, то и шинель, примерзшая к земле, кажется теплой. Когда освежаются чувства, то и палящая жара переносится легче, а усталость смывает, как вешним ливнем.

А если нет долго письма или оно неласково, небрежно, с холодком, который сквозит между строк, тогда за пазуху шинели заползает злая обида и точит сердце, как черви яблоко. И какие только мысли тогда не придут в голову! То вдруг покажется: с глаз долой — из сердца вон, забыла девушка, как коротали вместе ночки под душистыми тополями в городском саду, как бродили по улицам рука об руку, делясь самым сокровенным, как прощались у ворот и не могли уйти друг от друга. Значит, не любила, смеялась, врала? Значит, ошибся? Думал: это большое чувство, красивая, глубокая дружба, настоящая

любовь, которую пронесешь до конца жизни.
А это была... пустота.

Вот какие обидные и часто несправедливые мысли лезут в голову, и никак от них не отмахнешься. Лежит человек в землянке, и не спится ему, ворочается с боку на бок. Они мешают. Они кусают, как слепни. Они омрачают даже радость подвига, а походный мешок делают порой тяжелей в два раза.

Вы скажете: война и любовь! Советский воин, богатырь, гвардеец, орел и сердечная меланхolia!

Нет, дорогие, это не сентименты и не слабость!

Это жизнь, девушки. Крепок в борьбе, как гранит, наш советский воин. Крепок, как гранит, но это не значит, что он — камень. Он — живой человек. Он радуется подснежнику, который расцвел рядом с окопом. Он плачет, опуская в братскую могилу тело любимого боевого друга, и не стыдится своих слез. Он трепещет от радости, разглядывая детские каракули маленькой дочки или братишки, зеленых собачек и фиолетовых кур, которых они нарисовали ему цветными мелками. Он прижимает к губам твой пожелтевший портрет или наивный батистовый платок, который пронес через пламя, дым и кровь войны. Он — живой человек. И это прекрасно.

Артиллеристы расположились в глухом лесу. Они отдыхали. Грелись у костра. Усталые, озяб-

шие, но оживленные. Сегодня принесли письма, и бойцы жадно читали их при свете огня. Волочко, Манухин, Коромыслов и Яковенко сидели рядом и рассказывали друг другу о своих подругах, от которых им сегодня посчастливилось получить милые и желанные весточки. Так уж у них было заведено: когда приносили почту, — а ходили за ней порой под огнем, рискуя жизнью, прячась в воронках и переползая, — когда приносили почту, бойцы делились друг с другом вестями от родных и друзей, от матерей и любимых.

— Эх, друзья, — восторженно сказал один из них, — какие у нас девчата-то! За таких девчат — в огонь и в воду... Вот хотя бы моя Олеся... Вот слушайте-ка, чего пишет-то...

К костру быстрыми шагами шел Вася Ласточкин. Друзья примолкли. Примолкли они потому, что у Васи Ласточкина не было любимой девушки. Они знали: сейчас Вася увидит письма в их руках, услышит их слова, и карие глаза его затуманятся. Через минуту, правда, Вася Ласточкин смахнет с себя грусть, возьмет гармонь и воскликнет, усмехаясь:

— Эх, милая, верная, споем, сыграем!

Но товарищи знали: Васе Ласточкину обидно, что ему никто не присыпает таких нежных писем, как письма Олеси. Вася Ласточкин был лучшим артиллеристом части и чудесным товарищем. Его все любили и всякий раз испытывали чувство внутренней неловкости, радуясь при нем

горячим строчкам своих подруг, словно были виноваты, что строчки эти обращены к ним, а не к Васе Ласточкину. Друзья примолкли. И вдруг заметили, что лицо Васи Ласточкина светится изнутри какой-то особенной радостью, а глаза светлей и жарче, чем всегда.

— Хороша? — спросил он гордо и протянул товарищам маленькую фотографическую карточку.

Это было лицо девушки, простое, милое русское лицо с ямочками на круглых щеках.

— Золотое яблочко на серебряном блюдечке! — одобрительно воскликнул Волочко.

— Кто это? Ласточкин, кто это? Вот так Вася — вокруг пальца обвел! А говорил: зазнобы нет... Кто это? — загудели, как шмели, молодые артиллеристы.

— Мой друг, — волнуясь ответил Вася Ласточкин, не выпуская карточки из рук, осторожно сдувая дыханьем копоть, которая летела и садилась на фотографию: словно оберегал от копоти высокий чистый лоб девушки...

— Сейчас все расскажу, хлопцы, — торжественно сказал Вася, присаживаясь к костру.

И Вася Ласточкин рассказал историю карточки. В часть пришло письмо из далекого города с надписью на конверте: «Лучшему бойцу-артиллеристу». Письмо вручили Васе. Он распечатал его и увидел этот маленький овальный портрет и записку... А в записке было сказано, что девушка посыпает свою карточку, просит с ней переписываться и быть ее другом:

«Буду радоваться и гордиться каждым вашим личным боевым успехом. Буду думать о вас постоянно и мысленно следовать за вами. Помните: вы в разведку — и я с вами рядом, вы в атаку — и я с вами... Скорей мне напишите все о себе и, если можно, пришлите мне свой портрет. Я поставлю его в рамке на столе, и рядом с ним каждый день будут цветы. Кувшинки у нас уж давно расцвели, а потом пойдут черемуха и сирень. Пожалуйста, ставьте карандашом черточки на моем портрете (можно на каемочке), сколько вы всего сшибаете «Мессершмиттов», и так далее! Угощайте там их свинцом получше, дорогой мой бесстрашный герой! Простите, что я так вас называю, и не смейтесь: это — не шутка, а серьезно. А когда места уж не останется на карточке, то верните мне, — это будет дорогая сердцу фотография, — а взамен я вам пришлю еще лучшую! Так делает товарищ мсей подруги. У него уже две царапинки на медальоне с лилькиным портретом: он уничтожил две огневых точки. У меня нет медальона, а то и я послала бы, да и в письме нельзя.

Ах, если бы вы знали, как хочется иметь друга — настоящего друга! Я постараюсь заслужить вашу дружбу. Я хоть обыкновенная девушка, но, говорят, на заводе я одна из лучших слесарих, и у меня на станке есть уже два рационализаторских приспособления. Я вам потом напишу о них...

Мы с вами можем, пожалуй, и встретиться.

Вы только никогда не думайте о смерти: любовь сильнее смерти,— это правду пишут в книгах! До свиданья, мой дорогой храбрый герой! Передайте привет всей батарее и скажите: Люда клянется и приказывает поливать свинцом проклятых фрицев до полного разгрома!..»

— Вот это да! Вот это дивчина! — восхищенно воскликнул Волочко, когда Вася Ласточкин кончил читать письмо.— Королева!

Друзья обступили Васю. Обветренное лицо Васи искрилось, и рот смеялся широко, как у мальчишки. Смеяться было больно, потому что сильно потрескались от ветра губы. Но Вася Ласточкин смеялся и слова восторга и признательности сами собой срывались с уст.

— Талисман мой, — сказал лукаво и нежно Ласточкин, пряча маленький овальный портрет рядом с комсомольским билетом.

Он рассказал о письме всем своим товарищам, и все порадовались вместе с ним. И все-таки ему было мало. Он спустился в землянку к командиру и сказал, застенчиво улыбаясь:

— Ночь будет холодная... Не подложить ли в печку, товарищ командир?

Командир отвел красные, утомленные глаза от карты:

— Да нет, там все, кажется, в порядке. А вы что не отдохаете, товарищ Ласточкин?

— Сейчас, — ответил Вася Ласточкин, продолжая смущенно улыбаться,— письмо получил.

— От девушки? — весело спросил командир.

— Вот именно! — просиял Ласточкин. — И вам привет, товарищ командир, всей батареи. Разрешите прочитать привет, товарищ командир?

Вася Ласточкин радостно и стыдливо читал конец письма.

— Боевая девица! — одобрительно сказал командир. — Хорошие у нас девушки, товарищ Ласточкин! Гордится она вами, а? И хороша, должно быть? Не видал, а чувствую — хороша.

— Хороша! — краснея, воскликнул Вася Ласточкин.

Он хотел показать карточку и рассказать о будущих отметках на каемке, но постеснялся.

— Ну, а теперь отыхать, отыхать. Видите, как она нам приказывает свинцом поливать, — командир засмеялся. — Берегите силы. Золотая девица, золотая...

— Спасибо, товарищ командир! — порывисто поблагодарил Вася, уходя.

«Нет лучше нашего команда!» — пылко подумал он.

Он ощущал такой прилив сил и воинственности, что мог бы сейчас же, немедленно, снова расчищать огнем путь пехоте, сокрушать вражеские блиндажи, сшибать фашистских стервятников. Он жадно и зорко вглядывался в темную ночь. Она показалась ему слишком мирной.

Враг боится встречи
С нашей картечью,

запел он и, резко повернувшись, снова нырнул в землянку команда.

— Товарищ командир!.. Одну секунду... Разрешите, товарищ командир, пойти в разведку.

— Идите отдыхать,—строго приказал командир.

— Есть итти отдыхать,—виновато повторил Вася Ласточкин приказание.

Командир с ласковой усмешкой смотрел вслед исчезающей спине.

Эту лирическую быль рассказали фронтовики. На каемке маленького девичьего портрета артиллерист Вася Ласточкин уже сделал три боевые зазубрички.

ЖЕНА

Рассказ

Старик-хирург закончил осмотр раненых, присел на табурет у постели Давыдова и сказал ему, довольно пощипывая седую бородку:

— Поздравляю вас, милый мой. Завтра мы вас выписываем? Невероятно, но это так. Поздравьте и меня, юноша. Теперь дело прошлое, и я могу сказать вам откровенно: я не надеялся на благополучный исход дела. Ведь на вас живого места не было. Одиннадцать операций, мой дорогой. Дикая орда! Они хотели, чтобы вас не было, но вы живы!

Лицо профессора светилось радостью.

— Спасибо, доктор,—горько улыбнулся Давыдов,— большое вам спасибо за все... Но...

Он замолчал. Из его груди вырвался какой-то странный звук.

— Что значит это «но», молодой человек? —

изумленно спросил хирург. И вдруг увидел, что Давыдов закрыл газетой глаза, полные слез.

— Вы с ума сошли... — прошептал старик, наклоняясь над постелью летчика, — да вы что, не рады своему воскрешению из мертвых? Не рады своему выздоровлению? Скажите только одно слово: да?

Давыдов проглотил слезы и утвердительно кивнул головой. Он закрыл глаза, и слезы струились по его изуродованному рубцами, лиловому от ожогов лицу.

— Кому я... нужен... такой, — прошептал он, плача, как мальчик, и стыдясь своих слез.

— Давыдов... перестаньте! Давыдов, это — нервы. Это — глупости. Это, наконец, несправедливо. Вы слышите меня, лейтенант Давыдов? Идите сейчас же ко мне в кабинет. Я жду вас... Я вам приказываю это.

Старый хирург вышел, почти выбежал из палаты. Он был взволнован, растерян и оторчен. Он, втянув голову в плечи, ходил из угла в угол своего кабинета. Этот лейтенант, которому он кропотливо шивал множество ран, срашивал переломанные кости, этот человек, которого он спас от неминуемой смерти, был его творческой победой... И вот он заявляет, что ничего этого не надо было делать...

Гремя костылями, вошел Давыдов.

— Я вас обидел, доктор, — сказал он тихо.

— Меня? — Старый доктор пожал плечами, и очки в золотой оправе запрыгали на его пере-

носице.— Дурень вы этакий. Вы обидели себя. Кому он нужен?! Боже мой, вот спасай таких молодых прыгунов. Кому вы нужны? Вы нужны стране, родине, семье своей, за которую вы пролили кровь. Да вы же защитник советской земли, Давыдов, вы сшибли чорт знает сколько этих фашистских «Мессершмиттов».

Да! Вы не можете больше летать. Но вы найдете себе другое место в борьбе. Разве мало у нас найдется для вас дел? Нюня вы!..

Маленький старый доктор был прекрасен в своем гневе. Он побежал к окну, за которым расцветала буйно сирень, и забарабанил длинными пальцами по стеклу. Седая бородка его дрожала, и очки в золотой оправе еще сильней прыгали на переносице.

Давыдов виновато улыбнулся. Старик его отругал, и ему стало легче. Он поднялся с кресла и подошел к хирургу.

— Доктор,— сказал он,— касаясь подбородком профессорского плеча,— какой вы чудесный человек... Мне не хочется с вами расставаться. Спасибо вам, доктор. Разумеется, я нюня, и это очень скверно. Я обещаю вам прекратить это, доктор. Конечно, я найду место в жизни!

Несколько секунд они молча смотрели в окно. Они стояли, как отец и сын.

— Какова сирень! — примиренно бурчал старик,— какое небо нынче... Теперь это все ваше, Давыдов. Я вам все это дарю. Не плохо, а? Через несколько дней вы увидите свою жену.

Давыдов болезненно поморщился и, стуча костылями, снова ушел в кресло. Он закрыл глаза.

— Что еще? Что вы еще придумали, лейтенант? — грозно спросил старик.

— У меня молодая жена, профессор. Молодая, красивая жена... — стыдливо прошептал Давыдов.

— И что же? — сердито воскликнул хирург. — Насколько мне известно, она жива и здорова и почтальоны устали носить от нее письма в наш госпиталь.

— Да... Маша пишет прекрасные письма... Ее письма для меня воздух. Она ждет меня. Мы очень дороги были друг другу, доктор. Но я, доктор... я должен вам признаться... может быть, это глупо... я не писал ей про это. — Давыдов провел ладонью по обожженному лицу, по склоненной на три четверти ноге.

— Не мог, не мог... Скрыл, — пробормотал он, мучительно краснея.

— Вздор, — отчеканил доктор, — напрасно скрыли. Ваши рубцы — почетные рубцы. Ваши ожоги — славные ожоги. Дети должны снимать шапки, встречая вас на улицах. Жена должна гордиться, ведя вас под руку по городу...

— Ах, доктор! — радостно засмеялся Давыдов. — Как хорошо с вами. Простите, что я расстроил вас. Я ночи не сплю, доктор. Иногда мне кажется, не лучше ли хлопотать в инвалидный дом, куда поехал мой сосед по койке Вася

Курочкин. Вы знаете, что Курочкина... бросила жена. Она отказалась от него, а родных у него нет...

— Это была шлюха! — отрезал, нахмурившись, доктор.— Идите в палату, Давыдов. Сейчас ужин. Идите в палату и не терзайте свою голову дурацкими мыслями,— не для того я ее чинил!

...Но нелегко было выбросить из головы эти мысли в последнюю госпитальную ночь. Давыдов ворочался с боку на бок, бредил, стонал, пил воду, ощупывал обрубок искалеченной ноги. Когда в палате стало светло, он взял с белого столика зеркало и недружелюбно рассматривал свое лиловое изувеченное лицо.

«Глаза те же,— подумал он, и это его согрело,— глаза-то Маша должна... узнать. Она их любила».

В воскресенье Давыдов приехал в родной город. Он не телеграфировал Маше, и его никто не встретил. Румяная девушка с повязкой красного креста на рукаве вывела его на площадь, и он заковылял по зеленым кудрявым улицам, залитым утренним солнцем и влажным от недавно пролитого дождя. Пахло почками, листьями, цветами. Перед ним, как на ладони, лежал знакомый поселок, вдали белело здание заводского дома культуры, где он впервые познакомился с Машей.

Маша! Давыдов почувствовал, как все его существо затопила бурная радость. Сейчас он увидит Машу, родную свою Машу. Мучительные переживания куда-то исчезли. Давыдов

забыл обо всем. Он улыбался. Он прибавил шагу, энергично выбрасывая вперед свои костили. Вдруг споткнулся и съежился.

«Нет, я так не могу итти к Маше,— горестно подумал Давыдов и прислонился к стене дома,— надо было написать ей. Почему я этого не сделал? Как смел я молчать? Я не пойду. Она... испугается. И вообще надо было давно сказать. Она бы обдумала, решила...»

Солнечное утро померкло. Больше не радовала курчавая зелень деревьев, омытых весенним дождиком. Давыдов резко повернулся и медленно зашагал обратно на вокзал.

Он добрел до санитарного пункта и сел в угол, опустив руки, свои сильные умные руки, которые так превосходно управляли рулем самолета. Несколько минут он сидел молча. Потом он решил написать письмо Маше. Карандаш не бегал, а метался, носился по бумаге. Давыдов писал всё. Он писал, что он изувечен, что его лицо безобразно, он называл себя калекой и уродом, он клеветал на себя, изображая все в гораздо более мрачных красках, чем это было в действительности.

«Да, я такой, Маша,— писал он порывисто, прокалывая графитом листки блокнота, — ты знала меня красивым, сильным, здоровым, тебе доставляло удовольствие, когда девушки засматривались на меня, когда мы шли с тобой по городу. Теперь я не тот...»

Он перестал писать. Его душа протестовала.

«Как это так он не тот? Разве Маша его любила только за красивое тело? Разве не остался он таким же человеком, каким был? Да, ведь он стал лучше, зрелее, мудрее. Разве он не отдал бескорыстно все, что мог отдать родине, в трудный час, разве не он был крепким и храбрым солдатом в сражениях с фашистским зверьем?..»

Но он горько усмехнулся. И подмахнул суроно:

«...и если тебе не под силу эта ноша, не приходи».

Давыдов разыскал румяную девушку с повязкой на рукауе и протянул ей конверт.

— Это... очень важно... Вы ничего не говорите. Вы просто опустите в ящик... В синий ящик на дверях,— глухим от волнения голосом сказал он, и в глазах его было столько мольбы, что румяная девушка, не дослушав до конца его просьбу, взяла письмо.

Давыдов, нахохлившись, сидел в привокзальном сквере, под липой, которая была указана в письме. Он ждал, вздрагивая всякий раз, когда на дорожке показывался силуэт женщины. Легкий ветер трепал полы его смятой, простреленной шинели. Воробей сел на подушку его костыли, нагретую солнцем, дерзко чирикнул и улетел. Давыдов сидел час, два. Маши не было.

«Не придет,— тоскливо заныло в мозгу. Он испугался.— Неужели не придет? Нет, что бы ни было, а притти-то она ведь должна... Притти, сказать... Неужели не придет?»

Прошел еще час. Маши не было. Давыдов

устал. Солнце напекло ему голову. Болели плечи. И еще сильнее болела душа.

«Так,— стучало в мозгу,— значит так... Так...»

Он поднял отяжелевшие веки, протянул руку к костылю. И вдруг увидел женщину. Она шла прямо к нему. Нет, она не шла, она бежала, размахивая руками, словно крыльями. Каштановые пряди ее волос разметались на ветру.

— Маша! — крикнул он в смертельной тоске, в сумасшедшей радости и затрепетал и съежился, как мальчик, над которым замахнулась чья-то тяжелая рука.

— Маша... ты видишь... Маша... ты видишь... — лепетал он, смеясь и плача и не открывая счастливых глаз, на которые легли теплые ладони женщины.

— Как ты смеешь... как ты смеешь... нет, как ты смеешь,— дрожа от горечи, гнева, радости, повторяла женщина и гладила и целовала его бритую, пересеченную шрамами голову, его лоб, глаза, губы, его изувеченные щеки.

Она помогла ему подняться. Она взяла его под руку. Она подала ему его костыли. Надела на себя его выцветший походный мешок.

Они гордо шли рядом через весь город, залитый солнцем.

Тир. 1.000.000. Издательство «ПРАВДА». Цена 10 коп.

А 61461. Подписано к печати 15/VIII 1942 г. Заказ 2262.

Типография газеты «Правда» имени Отепина.

Москва, ул. «Правды», 24.